

НАШ СОВРЕМЕННОК



ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

3 - 1988

Главный редактор
С. В. ВИКУЛОВ

Редакционная
коллегия:

В. П. АСТАФЬЕВ,
В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
Г. И. БУЗМАКОВ
(зав. отделом очерка
и публицистики),
И. А. ВАСИЛЬЕВ,
В. Ф. ГРАЧЕВ
(зав. отделом прозы),
А. И. КАЗИНЦЕВ
(заместитель главного
редактора),
Г. Г. КАСЬМИН
(зав. отделом поэзии),
А. Г. КУЗЬМИН,
С. М. ЛУКОНИН
(ответственный
секретарь),
И. И. ЛЯПИН,
Е. И. НОСОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
В. М. СВИНИННИКОВ
(первый заместитель
главного редактора),
Г. В. СЕМЕНОВ,
Г. В. СЕРЕБРЯКОВ,
И. И. СТРЕЛКОВА,
П. П. ТАТАУРОВ
(зав. отделом критики),
О. А. ФОКИНА,
Л. А. ФРОЛОВ,
А. И. ХВАТОВ,
Н. Е. ШУНДИК.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

© «Наш современник» № 3 1988 г.

А. КУЗЬМИН

К КАКОМУ ХРАМУ ИЩЕМ МЫ ДОРОГУ?

ФИЛЬМ «Покаяние» прочно вошел в общественное сознание образом Улицы, ведущей к Храму. Даже «Коммунист» заговорил о Храме на Зеленом холме, и бюстители атеистической чистоты не решаются осудить мистическое восприятие прошлого, когда разрушались конкретные храмы и рушилась вера в туманные Идеалы. Но призыв к покаянию почти не услышан. Никто всерьез не принимает его на свой счет. К тому же в фильме Храм оказался слишком облачным, слишком вознесенным над морем жизненных страстей, чтобы составить альтернативу земному злу.

Каяться никто не хочет. Едва ли не единственный пример покаяния — интервью И. И. Минца журналу «Огонек» (1987, № 1). Автор многих работ и руководитель Научного совета по истории Октября призвал к пересмотру написанного за полвека. Правда, вина возлагается на обстоятельства. Остается неясным и то, как же надо писать. (Автор уже протестовал, что его не так поняли.) Вроде бы следует открыть все, что ранее закрывалось. А сведения о деяниях неизвестных («вольных каменщиков — строителей Храма Соломона» в канун февраля 1917 года предлагается, напротив, закрыть).

Все-таки здесь покаяние. Гораздо же чаще поток критики выплескивается по пословице: «Медведь сам дерет и сам орет». Виновных ищут среди тех, на кого недавно обрушивали всю мощь Административной Системы (еще один образ, олицетворяющий в новейшей публицистике Зло). Ю. Н. Афанасьев в многочисленных печатных и устных выступлениях скорбит о потерянных десятилетиях: ничего не удалось создать за годы застоя. Понять его можно: трудно творить, будучи принадлежностью той же Системы (например, заведующий отделом указующего органа). Творить могли лишь те, кто не боялся окриков некомпетентных руководителей науки, культуры, печати, окриков, подобных статье Ю. Н. Афанасьева («Ком-

мунист», 1985, № 14), где советским историкам и писателям предписывалось равняться на французскую позитивистскую историографию и вольных художников типа Поля Валери, элитарное презрение которого к народам заклеил в свое время Горький (см.: Собр. соч., М., 1953, т. 26, с. 251—252). И здесь мы найдем больше запретов, чем разрешений. Запрещается задерживать внимание на традициях народных (осуждение книги В. И. Белова «Лад»), запрещается задавать вопросы по поводу упомянутых деяний строителей Храма Соломона.

Сейчас более всего достается последним десятилетиям и 30-м годам. «Великое десятилетие» у Ю. Н. Афанасьева — редкостная светлая полоса. Примерно то же у Никиты Аджубея: 1964 год — грань между светом и мраком («Знамя», 1988, № 1, с. 188). Не оспаривает градации и его собеседник Г. Попов. В. Дудинцеву же, напротив, октябрьский Плечум 1964 года представлялся возрождением (им первоначально заканчивался роман «Белые одежды»), поскольку означал конец лысенковщины.

На разные Улицы выходят страждущие. Да и Храм, похоже, ищут не один и тот же. Даже в яростной критике извлечений из выступлений самозванных лидеров «Памяти» можно различить известную нестройность. Г. Попов беспокоен тем, что Е. Лосото излишне рекламирует «Память» («Знамя», № 1, с. 197). Оправданное беспокойство. И дело не только в том, что слишком часто пишут о ней Е. Лосото и А. Черкизов, а в том, как пишут. Ведь такие серьезные обвинения — в шовинизме, фашизме, антисемитизме, на которые не спускают оба автора, принято доказывать. В самом деле, как непредубежденному читателю понять, почему сионистские читательские письма — это подделка антисемитов, а антисемитские (они же антисоветские) — это обязательно «Память»? Не поймет читатель этих аргументов и потому, что уже много десятилетий хищный оскал фашизма и антисемитизма яснее всего проступает в Лива-

не, на западном берегу Иордана, в секторе Газа, где идеями рабовладельческой эпохи прикрывается геноцид в отношении великого семитского народа арабов.

Не поверит читатель даже в то, что авторы искренне заблуждаются. «Советской культуре» приходится отбиваться от судебных исков в связи с очень уж вольным обращением с фактами А. Черкизова (к тому же постоянно привлекающего к себе внимание особым пониманием нравственности). А как «Комсомольской правде» объяснять читателю факт появления статей, где Ленину приписывают нечто непостижимое — «социализм как отечество» и со ссылкой на якобы ленинское «учение о двух культурах» выливают столько презрения к народу («огромным темным массам почти сплошь неграмотных крестьян»), какового не встретишь и у крепостников XVIII века.

Во всех подобных публикациях речь идет, по сути, об исторической памяти народа. Именно с ней в действительности и ведут борьбу, причем любыми средствами. А эта Улице очень знакома. Теоретические истоки ее уходят в начало века, а практика развернулась главным образом в 20-е годы. На этой Улице клеймили патриотизм и как его носителя крестьянство. На этой Улице стремились оборвать связи народов со своей историей. На этой Улице набирались дружины для разрушения простоявших многие века храмов.

Зачем все это делалось? Г. Попов конкретизирует этот вопрос: «Почему в первую очередь с каким-то ожесточением, даже остервенением подвергалась утеснению именно русская историческая память?». Можно поблагодарить и автора, и журнал за то, что вещи названы своими именами. Еще любопытнее объяснение случившегося. По мнению автора, ущерб для русской культуры объясняется избранной моделью социализма, в которой «русский язык становился единым языком Союза, а русский народ должен был взять на себя главную роль в стране... Принимать русскую культуру, прошлое русского народа потребовалось для того, чтобы ожесточить русских, освободить их от своей памяти, чтобы они справились с ролью, отведенной им административной системой. Человек, освобожденный от своего прошлого, больше пригоден для директивных, командных форм руководства другими народами» («Знамя», № 1, с. 193).

Очень интересно, к чему отнесет это суждение А. Черкизов: к «демократии» или к «распущенности»? Любопытно также, не свяжет ли Е. Лосото мысль публициста с ею же разрекламированной книгой черносотенца А. С. Шмакова («Комсомольская правда», 19.12.87)? Думается, что Г. Попов просто стремится понять факты, а они, как известно, упрямы: разрушенные памятники, вычеркнутые имена, оборванные традиции, духовное оскудение. Такое могли допустить люди, либо враждебные культуре, либо, по меньшей мере, лишенные ее. И все-таки можно ли поверить, что все это было запрограммировано в рамках Административной Системы ее создателями. Кто же в таком случае создатели, если одни народы при-

носятся в жертву ради господства над другими?

Нельзя, конечно, совершенно исключать наличие в Системе такой Улицы, но вряд ли можно все свести к ней. На упомянутой выше Улице в 20-е годы было много честности и энтузиазма, ожидания чего-то более прекрасного в отдаленном или даже ближайшем будущем. Другое дело, что было обесценено само понятие прекрасного. Все-таки ошибки детства извинительны. Другое дело, когда их повторяют и даже на них настаивают взрослые дяди и тети.

Явно по той же Улице, что и А. Черкизов с Е. Лосото, шествует в «Советской культуре» (24.11.87) Г. Петров. Автор напоминает слова Ленина о том, что резолюция должна уметь защищаться, и призывает «защищать нашу перестройку». Чью «нашу» и от кого? От ученых — организаторов конференции в Ленинграде (Пушкинский дом, ЛГУ, Пединститут им. Герцена). Автор пытается затолкать их все в ту же «Память» и натравить на них мощь Административной Системы. По Петрову, наказать якобы надо тех, кто проблемы литературоведческие смешивает с мировоззренческими и нравственными. Предлагается, следовательно, литературоведение без мировоззрения и нравственности. Эстетическая категория народности представлена выдумкой «мракобеса Уварова». Кару грозят обрушить даже на головы тех, кто воспринимает борьбу не как полезно-групповую, а как принципиально-идеологическую.

Последнее удивительно. Групповая борьба отличала ту Улицу и в 20-е годы. Но тогда ее стремились возвести в ранг идейно-политической. И вдруг такая непосредственности! Только ведь и полезно-групповой интерес питается определенной идеологией и методологией (это всегда вариант субъективного идеализма).

«Мы вправе принять любую идею, укрепляющую социализм, интернационализм», — наставляет Г. Петров. И с этим можно было бы согласиться, если бы не одно «но». «Интернационализм» у нас обычно идет в паре с «патриотизмом». И это не случайно: без государственного-национального не может быть и интернационального. Интернационализм без отечества — что это, может, космополитизм? «Социализм» же без нравственности и народности — это, пожалуй, то самое, что увидел в Административной Системе Г. Попов.

Весьма своеобразно на этой Улице клеймят ныне тех, кто «кокетничает с боженькой». Недавно Б. Васильев в «Советском экране» под впечатлением фильма «Покаяние» возмущался разрушением храма Христа Спасителя. Но негодование свое непостижимым образом связал с «рвотными приступами великорусского шовинизма» (поистине, медведь дерет и сам орет). А Е. Лосото обвинила тех же «шовинистов» в нежелании понять, что «тогда это были не памятники, а гнезда клерикальной реакции». И это еще не все. Нравственные искания героев В. Астафьева или В. Белова — «кокетничанье с боженькой». А. В. Луначарский же, в адрес

которого первоначально направлялась эта формула, берется под защиту («Комсомольская правда», 5.11.87).

Примерно то же у Г. Петрова. Автор возмущен упоминанием имени Луначарского на конференции без придыхания. И еще более он возмущен тем, что на конференции огласили записку, в которой марксизм отождествлялся с сионизмом. Но ведь на эту заведомо провокационную записку вполне достойно ответили. Чем же обеспокоен автор? Что организаторы не уклонились от ответа? Так подобные вопросы нередко задаются каждому лектору. И не может быть иначе. Нельзя, рекламируя Луначарского, скрыть от читателей главный его труд «Религия и социализм» (1908—1911), где он объявил марксизм «пятой религией, формулированной иудейством», чем и дал повод пресловутым черносотенцам отождествить марксизм с сионизмом. (О «евангелии от Анатолия» см.: Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. III. М., 1957, с. 370—389, а также, конечно, «Материализм и эмпириокритицизм» и многие другие работы Ленина.)

Улица, на которую зовут Е. Лосото и Г. Петров, уже испытана историей. По ней шли в 1929—1932 годы, когда наступление на «огромные темные массы» развертывалось под аккомпанемент шумихи, поднятой РАППом и Пролеткультом, и под грохот взрывчатки, уничтожавшей «гнезда клерикальной реакции». И странное дело: самые ярые критики «культы личности», ратующие за памятник жертвам 1937 года, проскальзывают мимо тех лет, когда жертв было во много раз больше. Не потому ли, что на «личность» пытаются свалить вину и за чьи-то еще просчеты и преступления?

Именно на этой Улице обычно размахивают жупелом «двух культур», прикрывая махистские вульгарно-социологические представления ленинскими высказываниями. Только теперь это уже не модно. Показательно, например, как, так сказать, не износив сапог, поменял установку Н. Анастасьев. Совсем недавно он требовал, чтобы все стояли на платформе демократической культуры против буржуазной («Вопросы литературы», 1986, № 6). Но вот он уже разъясняет, что «мысль о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми дает устойчивые критерии и литературоведам и критикам» («Литературная газета», 24.06.87). И никаких покаяний.

Подобные повороты (а они захватывают большинство приверженцев «учения о двух культурах») проясняют суть многолетнего словоблудия. Ранее пытались обесценить патриотизм формулой «классового подхода», теперь его топят в разливанном море «общечеловеческого».

Такова эта Улица. К счастью, пустеют ее тротуары, все меньше ведомых, все неуютнее чувствуют себя ведущие.

Куда насыщенной, богаче сближающиеся и расходящиеся Улицы, которыми ведут Г. Попов и И. Клямкин. Едва ли не первыми указали они на один существенный факт: Административная Система де-

сятиятиями абирала в себя далеко не лучший человеческий материал. Лозунг «опоры на бедноту» приводил к засорению Системы неустроенными в обществе и прямо деклассированными элементами. И на этом фоне странными и нелогичными выглядят рассуждения Г. Попова о перестройке национальных отношений по пути вытеснения территориального принципа экстерриториальными вплоть до узаконения «культурно-национальной автономии» («Знамя», 1988, № 1, с. 202).

Дело, конечно, не в том, что с подобной теорией непримиримо боролся Ленин. Даже не в том, что практика в этом случае опиралась на идеалистическую теорию нации. Дело в том, что «национальное» превращается в этой концепции в субъективно-политическую категорию, причем «землячества» неизбежно будут противопоставлены территориально-производственным коллективам.

Опыт США в этой сфере едва ли для нас применим. Национальные общины и землячества здесь — необходимая форма организации в жестокой конкурентной борьбе. И общины здесь выстраиваются в иерархию, издавна утвердившуюся на Западе и обязательную в рамках монополистического капитализма. Культурно-национальная автономия тоже предполагает подобную иерархию.

Сложности, привносимые принципом культурно-национальной автономии, были очевидны даже на уровне партийных социал-демократических организаций. Положение, сложившееся после 1907 года, Ленин называл «федерацией худшего типа». Суть ее — «у «националов» есть свои особые организации, свои центральные инстанции, съезды и т. д. У русских этого нет, и их ЦК не может решать русских вопросов без участия борющихся друг с другом и незнакомых с русскими делами бундовцев, поляков, латышей». Троцкистский августовский блок пытался узаконить «федерацию для «национальностей» с отдельными центрами без отдельного центра для русских» (ПСС, т. 22, с. 229, 230).

Проблем в национальных отношениях у нас, конечно, много. Но решать их надо все-таки в соответствии с ленинскими принципами и ленинской теорией нации. Опыт показывает, что сползание к культурно-национальной автономии (а на практике это имеет место) лишь создает дополнительные проблемы.

«Какая улица ведет к Храму?». Именно так назвал статью Игорь Клямкин («Новый мир», 1987, № 11). Сейчас все просчитывают альтернативы пути с 1929 года, а иногда и более раннего. И. Клямкин пришел по нашим временам к неожиданному выводу: альтернативы тому, что произошло, не было. Ни одна из улиц к Храму не вела.

Широкий взгляд, глубокие экскурсы, интересные интерпретации, не книжное чувство диалектики. И все-таки два серьезных изъяна проступают. Первый как раз в той сфере, где автор как будто особенно подготовлен. Много говорится о ценностях, а система ценностей не определена и иерархия их не выстроена. А без этого диалектика не работает. Создается

впечатление, что мерилом прогресса служат только производительность труда и уровень производства. Поэтому столь мрачен прогноз в отношении перспектив развития, поэтому столь негативна оценка крестьянства, да и Достоевского тоже. А надо бы подумать и над тем, почему так сильна ностальгия по России не только у старой, но и у новой эмиграции, даже на Брайтон-Бич.

Другой изъян — слишком однобокая характеристика взглядов Троцкого. В критике Юрия Селезнева (автора книги о В. Белове) И. Клямкин в основном прав: Игнат Спронов из романа Василия Белова «Кануны» не троцкист. Речь идет о сходных, но разных явлениях. Однако чем они сходны и в чем различны? Склонность к административному идет от наших махистов начала столетия. Обычно в этой связи знают лишь А. А. Богданова да А. В. Луначарского. А к махизму склонялись и Сталин, и Каменев, и Рыков, и Бухарин. Суть-то махизма не в «комплексе ощущений», а в вытекающем из «комплекса» произволе по отношению к жизни и народам. Ленинская работа «Материализм и эмпириокритицизм» не была по достоинству оценена современниками. Да и ныне содержание ее далеко не исчерпано.

О философских взглядах Троцкого едва ли стоит говорить. Как раз в эпоху философских споров Ленин заметил, что с Троцким «нельзя спорить по существу, ибо у него нет никаких взглядов» (ПСС, т. 21, с. 31). Впрочем, Ленин имел в виду и политические взгляды Троцкого. Скажем, Мартов «открыто излагает взгляды». «Троцкий же представляет только свои личные колебания и ничего больше... Троцкий совершает плагиат сегодня из идейного багажа одной фракции, завтра — другой, и поэтому объявляет себя стоящим выше обеих фракций. Троцкий в теории ни в чем не согласен с ликвидаторами и отзовистами, а на практике во всем согласен с голосовцами и передовцами» (ПСС, т. 19, с. 375. Имеются в виду органы печати ликвидаторов и богдановцев-отзовистов).

В публикации В. Т. Логинова и Г. З. Иоффе «Страницы истории Октября» в том же номере «Нового мира» точкой отсчета взято отношение Сталина к Троцкому, несправедливость оценок первого в отношении второго. Тот же мотив проходит в пьесах М. Шатрова. И. Клямкин все-таки не сумел до конца выйти из рамок этого клише. А это все-таки частность. Начинать надо с отношения разных деятелей к России и ее народу.

Много написано о пороках Сталина и почти со всем можно согласиться. Даже бесспорный факт, что в середине 20-х годов Сталин вернее других трактовал Ленина, лишь отчасти идет ему в заслугу: слишком далеко уходила практика от теории. Но это, во-первых, не значит, что неверна теория, а во-вторых — что правы были оппоненты.

И. Клямкин почему-то проблему соотношения «мировой революции» и «социализма в одной стране» отнес лишь к середине 20-х годов, столкнув и разведя

на этом противостоянии с одной стороны Троцкого и многих его единомышленников, а с другой — почти одинокого Сталина. А это противостояние обнаружилось еще в начале столетия между Лениным и Троцким (в первую очередь, хотя не только с ним). В годы первой мировой войны ленинизм и троцкизм принципиально расходятся именно по этому вопросу, и позднее борьба вокруг противоположных по существу задач, задававшихся революционным движению, многое осложнит и деформирует. Троцкий был принципиальнее Сталина: он всегда выступал против кардинальной ленинской идеи, точнее, против ленинской оценки перспектив развития. Сталин был и с Троцким, и с Зиновьевым, и с Бухариным. Об этом в последнее время много писали, и фактическая канва более или менее отстоялась. Другое дело — объяснение: чем руководствовался Сталин в том или ином случае и как вообще оптимально должны были сочетаться противоборствующие идеи.

Как относился Троцкий к России? И. Клямкин излишне благодушен, когда вступление Троцкого в 1917 году в партию большевиков связывает с пониманием того, «что российской революция, решающая национальные задачи, должна в то же время стать искрой, из которой возгорится пламя революции мировой, а та, в свою очередь, поможет отсталой крестьянской России решить задачу, своими силами для нее не разрешимую, — построить развитую социалистическую экономику». Не о том заботился Троцкий, не так соотносились разные задачи.

И. Клямкин напоминает об определении «право-троцкистский (то есть «право-левый») блок» в документах 30-х годов. Вроде бы бессмыслица. Но именно таким был «Августовский блок», который и мог послужить «прототипом» прозвучавшей позднее обвинительной формулы. Там были и правые, и крайне левые с точки зрения задач русской социал-демократии. Беспринципной выглядела и замена историко-экономического понимания нации, отраженного в программе партии, идеалистической «культурно-национальной автономией». Борьба со всеми националистами оборачивалась прославлением наиболее националистической из всех возможных теорий нации. А все дело в том, что и для «правых», и для «левых» в этом блоке вовсе не Россия являлась точкой отсчета.

Деятели типа Мартова, Троцкого и Богданова Ленин не без иронии называет «европеистами». Он постоянно подчеркивает отдаленность их от России и реальных интересов российского пролетариата. Мартов видел причину неудач революции 1905 года в том, что «русская социал-демократия говорила слишком усердно по-русски». «У Троцкого, — отмечает Ленин, — «философия истории» та же самая». Троцкий объяснял для европейцев внутрипартийную борьбу как «приспособление марксистской интеллигенции к классовому движению пролетариата»; как «борьбу за влияние на политически незрелый пролетариат».

Далеко не случайно при этом само упоминание формулы «приспособления».

Ведь Троцкий имел в виду и себя, а о своем отношении к делу он, очевидно, знал. Именно как приспособленец Троцкий не мог понять и сути ленинских страстных строк в защиту российского пролетариата: «Русский пролетариат завоевал себе и русскому народу то, на завоевание чего другие народы потратили десятилетия... Он завоевал себе роль гегемона в борьбе за свободу, за демократию, как условие для борьбы за социализм. Он завоевал всем угнетенным и эксплуатируемым классам России *уменьше* вести революционную массовую борьбу, без которой нигде на свете не достигалось ничего серьезного в прогрессе человечества» (ПСС, т. 19, с. 371).

Межрайонцы, в составе которых Троцкий в 1917 году примкнул к большевикам, — одно из «белых пятен истории», о которых теперь так любят говорить, причем здесь кроется едва ли не главная загадка: почему это белое пятно? Так или иначе, троцкисты и махисты-впередовцы здесь снова действуют рука об руку. И те, и другие решительно не приемлют ленинскую оценку развития революции, сформулированную в 1915—1916 годах, именно убеждение, что революция может сначала охватить лишь одну или несколько стран. Троцкий обвиняет Ленина в «национальной ограниченности», и это обвинение будет проходить через его выступления как рефрен в дискуссиях 20-х годов.

«Несуразно-левая», по выражению Ленина, «перманентная революция» Троцкого была химерой. Но это ведь была отнюдь не невинная фантазия увлекательного мечтателя. Это была единственная идея, которой Троцкий следовал на практике. И трудно даже вообразить, что было бы с народами мира, если бы в руках Троцкого оказалась власть, к которой он всю жизнь, не разбирая средств, стремился.

Это не в оправдание Сталина. У него как раз можно найти много от Троцкого и в стратегии, и в тактике. Обвинения 1936—1938 годов, конечно, надуманны. Только если бы сказали правду — вряд ли она была бы выгодней Троцкому. Ведь его «мировая революция» — это молох, в жертву которому готовились принести целые народы. И в первую очередь народы России. Сталин побоялся сказать правду потому, что слишком крепко засела в головах функционеров формула, по которой не идеи служат народу, а народ лишь средство реализации идеи. И сам он и думал, и действовал в соответствии с этим принципом, показав на практике, к чему это ведет.

Г. Попов и И. Клямкин хорошо объяснили, откуда в Системе набралось столько проходимцев: это — люди, не имеющие корней в обществе, деклассированные элементы. Во все века бюрократия искала таких людей. И в критике Юрия Селезнева есть резон. Не всех, загоняющих мушкетера в рай дубиной, надо считать троцкистами. Троцкизм — это обязательно антинациональная направленность. Не только в СССР, и во всех других странах троцкисты боролись против идеи строительства социализма в рамках отдельных госу-

дарств. Люди типа Игната Сопронова были страшны своей самодовольной некомпетентией. Но компетентные приверженцы «перманентной революции» были все-таки куда опасней.

Пессимизм И. Клямкина в отношении перспектив строительства социалистического общества в СССР все-таки вытекает из троцкистско-мартовского понимания социализма как чего-то заведомо чуждого национальным особенностям и несовместимого с ними. Примечательно, что троцкисты не только не принимали, но раздраженно третировали всякие разговоры о патриотизме как стимуле развития общества. Ленин не случайно на протяжении 1918—1921 годов неоднократно буквально звал к коллегам, дабы они изменили отношение к этому «одному из наиболее глубоких чувств». На VIII съезде партии Ленин прямо увязал отношение к среднему крестьянину «с решением вопроса: за патриотизм или против патриотизма?» (ПСС, т. 38, с. 135. Это принципиальнейшее место из доклада на столь известном съезде почему-то не попало в указатели справочного тома).

Смысл альтернативной постановки вопроса очевиден. Это означало — идти или не идти к социализму на практике. Потому что «не издан еще такой декрет, чтобы все страны должны были жить по большевистскому революционному календарю, а если бы и был издан, то не исполнялся бы» (там же, с. 161). Теперь мы знаем, что расчеты троцкистов и богдановцев-впередовцев вообще строились на песке и ни в каком варианте не сулили ничего хорошего народам. Патриотизм был единственной стимулирующей силой, позволявшей приобщить к социалистическому строительству подавляющее большинство трудящихся и интеллигенции. К сожалению, настоять на своем понимании проблемы Ленин не смог. Это и не удивительно, если и ныне говорить об этом не просто.

Так что альтернатива-то и сталинизму, и троцкизму была. Она заключалась в усвоении ленинской позиции и в теории, и на практике. И теперь часто раздающийся призыв «назад к Ленину!» далеко не исчерпал себя. И если корректировать Ленина, то прежде всего на пути освобождения его от вынужденных оговорок, уступок в пользу радетелей «мировой революции». Практика показала, что ультрареволюционные лозунги были не просто ложными, они нанесли неисчислимый вред действительно конструктивным силам общества.

По существу лишь теперь обратили внимание на предостережение Ленина против понимания интересов пролетариата как корыстных (а это было свойственно процветавшему в рамках махизма вульгарному социологизму). Но мысль Ленина часто дорисовывается слишком произвольно, в духе последнего высказывания Н. Анастасьева.

В конце 1899 года в «Проекте программы нашей партии» Ленин заметил мимоходом, но как о само собой разумеющемся, что «с точки зрения основных идей марксизма, интересы общественного развития выше интересов пролетариата».

(ПСС, т. 4, с. 220). Существо этой мысли проясняется вышеприведенными возражениями Ленина Мартову и Троцкому. Пролетариат является частью народа, а не противостоящей ему сектой. Вместе с тем «общество» — это не конгломерат, в котором русский пролетарий, арабский феллах, американский индеец и не приписанный ни к какой стране миллиардер думают, как бы им помочь друг другу. Общество складывается исторически в результате производственного и духовного взаимодействия разных групп населения. Национально-государственные границы и сейчас, и в отдаленной перспективе будут размежевывать и общества. И именно развитие этих обществ в конечном счете окажется в интересах всего человечества.

Естественно, что у человечества имеются и общие (и более одинаковые) интересы. Все заинтересованы в предотвращении войны, которая может погубить человечество. Необходимо регулировать экологические проблемы, сдерживать стремительное исчезновение природных ресурсов, всем полезен обмен материальными и культурными достижениями. Но идея «единой фабрики» не оправдала себя даже в масштабах страны, а в космических пределах она стала бы попросту гибельной. Ведь для преодоления отчужденности труда надо, чтобы работающий реально ощущал свою причастность к созданному.

Итак, прежде чем искать Улицу, следовало бы установить: какой Храм мы ищем? И. Клямкин свое видение Правды изложил в сопоставлении Петра и Евгения из пушкинского «Медного всадника». «Петр — орудие необходимости, Евгений — ее жертва. Петр велик, Евгений мал. Но правда на стороне Евгения, на стороне того, кто страдает. И больше ни на чьей». Вроде бы верно. И все-таки... это существенно разные проблемы: Власть и Общество и Личность и Общество. Размечивать произвол Власть и действительный общественный интерес — одна из главных задач при обращении к прошлому. Обществу же личность не может противопоставляться хотя бы потому, что сущность ее — «совокупность общественных отношений», и совершенствование личности — это совершенствование отношений. Да и не может быть никаких улиц там, где воздвигаются анахоретские храмы. К ним ведут лишь индивидуальные тропки отшельников.

В этой связи неясны претензии автора к русским крестьянам, которые чуть ли не повинны в преступлениях Административной Системы. Почему крестьяне не восстали? Наверное, потому, что и в монастырской жизни на Руси отдавали предпочтение обществу перед единичностью. Не исчезли еще традиции общины у крестьян, и коллективизация сама по себе не должна была вызвать у них принципиального неприятия. А произволу властей, злоупотреблениям, идущим от анахоретов пролеткультовского толка, сопротивление оказывалось. И жертвы наиболее ощутимые принесло в борьбе с этим злом именно крестьянство.

Должно признать, что обыденному сознанию льстит теория, ставящая во главу

угла интерес вырванной из общества личности. Только этот Храм привлекает лишь на расстоянии. Вблизи же сразу обнажается его эфемерность. Это прекрасно продемонстрировал Даниил Гранин в повести «Зубр».

Генетика и кибернетика: как живой укор некомпетентному администрированию в науке встают они в общественном сознании. Симпатии читателя заранее на стороне генетики или кибернетики как неблагоприятной судьбой. Писатель хорошо уловил и использовал эти настроения и в повести, и во встречах с читателями, и на волне эмоциональной поддержки аудитории и критики сумел перешагнуть далеко за те идеалы, вокруг которых идет спор в публицистике.

Начать с того, что герой повести, Зубр — это Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900—1981), человек, двадцать лет (1925—1945) проработавший в Германии в пригороде Берлина Бухе в институте биологии Кайзер-Вильгельма (с 1936 года в качестве директора отдела генетики и биофизики), осужденный у нас как «невозвращенец», а затем работавший в некоем учреждении на Урале. Автор не просто пытается понять мотивы человека, оказавшегося в ловле врага его страны и народа, даже не просто оправдать: он создает некий эталон величия.

«Зубр» Даниила Гранина приближается к публицистике тем, что произведение документальное. Автор это постоянно подчеркивает в беседах с корреспондентами и во встречах с читателями. Этим повесть в первую очередь и ценна: обсуждаются реальные ситуации, сталкиваются живые мнения, известные люди, предлагается новая иерархия ценностей.

Одну важную задачу повесть уже выполнила: она вскрыла спекулятивность недавних попыток использовать «концепцию двух культур» в качестве методологической дубинки. Как бы ни оценивать главного героя, на «демократическую культуру» он никак не тянет. Тем не менее поборники этой «концепции» — Е. Сидоров, В. Оскоцкий, Ю. Суровцев — безоговорочно присоединили свои голоса к хору восторгов. Хорошо, что критики перестроились. Жалко лишь, что не «покаялись» при этом.

Да, в рамках вульгарного социологизма повесть решительно не укладывается, и в этом ее несомненное достоинство. Мы привыкли к приоритету социально-политических идеалов. Оказалось, что это небезопасно и для самих идеалов. Ведь именно таковыми легче всего манипулировать властям предрержащим. Влиять на иные ценности — художественные, научные — администратору труднее: надо быть компетентным. А искусство, наука и просто человеческие эмоции обладают самостоятельной ценностью. С этим необходимо считаться и теоретикам, и политикам. Другое дело, что оценки зависят и от квалификации оценивающего, и опять-таки от его социально-политических установок. Иначе и не может быть.

На встрече с читателями Даниил Гранин объяснил широкий интерес к новым прочтениям недавнего прошлого, в том числе и его повести, тем, что «люди хо-

тять знать правду» («Книжное обозрение», 3.07.87). А что это значит — сказать правду? В. Оскоцкий увидел в повести и социализм, и защиту прав личности, критику культа личности и приоритет личности перед коллективом. А можно ли вообще через «свою» правду выйти к правде общественной? Особенно если своя правда подчеркнута индивидуальна?

Думается, что повесть разрешает эту антитему не в пользу личности. Ведь система ценностей не может быть у каждого своя. Она складывается в общегитии.

В повести отсчет ведется от личности героя. В значительной мере его глазами смотрит на мир писатель. Его информация служит основой оценок разных лиц. А у героя была склонность к «трепу». Писатель возводит это качество героя в добродетель. Но ведь герой считал, что «хорошая история необязательно должна быть истинной, достаточно правдоподобной, нужно ли слишком строго следовать за фактами». А там, где речь идет о реальных лицах и подлинных событиях, да еще огромного социально-политического значения, правдоподобия мало. Нужна абсолютная точность.

Писатель и сам признает, что в повести возможны ошибки. В беседе с Ириной Ришиной («ЛГ», 27.5.87) он «повинился»: в журнальном варианте необоснованно унижен М. Завадовский. Было бы хорошо, если бы и другие подобные ошибки были устранены. Так, специалисты не подтверждают обвинений, брошенных А. Н. Северцеву. Со слов Ресовского приведены неожиданные данные о В. И. Вернадском: «Попал в эвакуацию с какими-то частями во время революции и поселился во Франции... Вернулся без всяких скандалов, без покаяний, как свободный человек... За границей делал что хотел: читал лекции о чем хотел». Ресовский ошибался. Вернадский никогда не был в эмиграции. Обязательную справку об этом можно получить у биографов ученого, в частности у Р. К. Баландина.

Писатель пояснил на встрече с читателями, что «Зубр» для него не «положительный», а «любимый герой». Очевидно, некоторые ошибки проистекают от увлеченности. Так, «датой основания популяционной генетики» была, конечно, не публикация Ресовского 1927 года, а отмеченная всеми справочниками работа С. С. Четверикова, материалами которого пользовался молодой Ресовский. Та же увлеченность просматривается в утверждении, будто с отъездом американского генетика-евгеника Германа Меллера «вавилонский институт в области теоретических направлений был обезглавлен». Не только в нашей стране, но и во всем мире Н. И. Вавилова признавали крупнейшим теоретиком.

Совершенно трудно понять сцену встречи писателя с выдающимся современным генетиком, автором «смелых и честных воспоминаний», академиком Николаем Петровичем Дубининым. Похоже, над писателем довели иные источники информации, а потому реальная беседа оказалась отодвинутой произвольно сконструированной.

Напомним те несколько строк из воспоминаний Дубинина, которые относятся к Ресовскому. Речь идет о встрече с Ф. Г. Добжанским в Нью-Йорке. «Казалось, что Добжанский получил все, чего он хотел, оставаясь в США... Однако ностальгия — болезненная тоска по родине — душила Добжанского... С какой страстной тоской говорил о своем желании побывать в Москве, в Ленинграде и в Киеве, где он родился! Второго невозвращенца, Н. В. Тимофеева-Ресовского, я встретил в Москве. Вместе с женой, Еленой Александровной, он пришел в 1956 году ко мне на Брестскую, 42/49. Н. В. Тимофеев-Ресовский и Ф. Г. Добжанский покинули Россию в ее трудное время, в начале 20-х годов... Страна напрягла все силы, чтобы создать свои кадры специалистов. Каждый ученый стоил России больших материальных средств и нравственных забот... В этих условиях оставление отчизны, воспитавшей их, было ужасным» («Вечное движение», М., 1973, с. 371—372).

Даниил Гранин осуждает Л. А. Арцимовича — выдающегося нашего физика — за то, что он в 1945 году в Бухе не подал руки Ресовскому и «позже вспоминал о своем поступке без раскаяния». Сочувствие читателя должно вызвать то, что Ресовский «был публично оскорблен, обещен и не мог ничем защитить себя». По отношению к Дубинину писатель настроен еще более неприязненно. «Это было неожиданно, — замечает он по поводу выше процитированных строк. — Я знал про их закадычную дружбу.. Я вспомнил, что он был среди тех, кто встречал Зубра в 1956 году в Москве на Казанском вокзале. Они обнимались и плакали от радости. Еще я вспомнил, что у Зубра в Бухе над столом среди прочих портретов и фотографий висел портрет этого человека... Оказывается, в одном выступлении автор этот покрикивал Н. К. Кольцова за его увлечение евгеникой, вредное увлечение вредной наукой с расистским душком. За это на него накинулись ученики Кольцова. Защищали не принципы, а своего учителя. И Зубр к ним присоединился...

Он весь кипел, забыв, что никого из них не осталось на этой земле. Они ушли, оставив его с неразряженной ненавистью. До чего же все оказалось просто: поссорился, вот он и написал такое про Зубра — невозвращенец; со стороны же для тех, кто не знал подоплеки, все выглядело идеально, монументально, а подоплеки никто и не знал».

Вот такой странный пассаж. Станный, потому что писатель ведь встречался с академиком. Он же знает, что академик и не был знаком с его героем до того, как тот посетил его в Москве в рабочем кабинете института. Знает и то, что не было академика среди встречающих на Казанском вокзале: слишком далеки они были по жизненным позициям. И написаны воспоминания за восемь лет до кончины Ресовского, а никак не после. И споры о евгенике шли в 30-е годы, а не после 1956-го.

Вот вам и «правда». И если так можно написать о всемирно известном ученом, продолжающем работать в разных област-

гях генетики, то что же говорить о тех, кого уже нет?

Явный нажим и пережим заставляют предполагать, что автор либо сам не слишком верит в приемлемость проводимых им идей, либо они таковы, что могут вызвать негативную реакцию читателя. Во всех случаях необходимо яснее представить, о чем говорится и что не договаривается.

О Тимофееве-Ресовском у нас не писали. Мало известны и его работы, поскольку выходили они за рубежом. Обычно Ресовский печатался в соавторстве, в том числе и в нашей стране. Мало что проясняют две небольшие авторские заметки, одна из которых была даже вторично перепечатана в сборнике «Чтения памяти Н. В. Тимофеева-Ресовского» (1983). Видимо, ей ученики придают особое значение. И именно в ней ученый задается вопросом: «кто прогрессивнее — чумная бацилла или человек?» — и считает, что на него «до сих пор нет убедительного ответа».

Вопрос этот привлек внимание и Данила Гранина. Видимо, он постоянно занимал Ресовского. Только для обществоведов никакой проблемы в этом нет: человек — существо социальное и уже этим возвышается над биологическим миром. Не больше глубины и в рассуждениях (в той же заметке), что было бы, если бы во главе мироздания стояли не люди, а пчелы. Видимо, ученикам и последователям стоило бы вместо перепечаток подобного «трепа» подготовить действительно научные публикации.

Автор повести также не проясняет сути вклада своего героя в науку. «Я не собираюсь описывать его научные достижения, не мое это дело. Не о них я пишу, я рассказываю одну человеческую жизнь», — предупреждает писатель, и он прав в таком отграничении: о научных достижениях должен писать профессионал. Правда, у писателя получается, что и для ученых наука не имела особого значения. Достаточно вспомнить начало повести: прием во Дворце съездов по случаю открытия конгресса. «Деловая часть — доклады, сообщения — все это, конечно, тоже было необходимо, хотя большинство лишь делало вид, что что-то в них понимает». Всем все понятно было лишь за накрытыми столами, где и «происходило самое нужное, самое дорогое для всех этих людей, разлученных большую часть жизни, разбросанных по университетам, институтам, лабораториям Европы, Америки, Азии и даже Австралии». Околонаучный «треп» и составляет основное содержание повести.

Именно через этот «треп» выстраивается та концепция видения мира, которую писатель предлагает читателю. Полная свобода в вопросах веры и неверия, политических и социальных систем, материализма и идеализма, отношения к отечеству и его народу. «Внутри науки, на кухне какой-нибудь проблемы ему было все равно, кто ее решит — мы или американцы. Вопросы приоритета его частно не волновали. Конкуренция между нациями его не затрагивала. Он не был стеснен догмами, идеализм не был для него пугалом. Он не боялся хвалить западных ученых, перед иными из них преклонялся, ругал

без оговорок Россию и русских за расхлябанность, хамство. Уважал немцев за пунктуальность. Не желал считаться с тем, что имя его одиозно из-за того, что жил в Германии всю войну, работал там при фашизме... Нельзя считать его борцом. Он не боролся за свои убеждения, он просто следовал им в любых условиях».

Автор постоянно подчеркивает, что герой его аполитичен. Аполитичность традиционно считалась у нас отрицательным качеством, а потому и ее надо было «реабилитировать». Аполитичен Мензбир. Кольцов, одно время захваченный политикой, осознал ее брешность. У эмигрантов одно слово «политика» вызывало тошноту. «Они старались где-нибудь пристроиться и вести незаметную, сытую, спокойную жизнь». И «вокруг Вернадского никогда не было ни шума, ни крика, никто не нервничал, не занимался политикой. Его либерально-демократическая натура объединяла многих порядочных людей».

Видимо, этот перечень выстроен со слов Ресовского. Писатель пошел за ним, а критики за писателем. И можно лишней раз умилиться, с какой оперативностью «воинствующие материалисты» переметнулись в противоположный лагерь.

«Либерально-демократические» убеждения, конечно, тоже политические: это взгляды кадетов. Кольцов был приговорен к расстрелу за самую активную политическую деятельность (он был в числе руководителей так называемых «Национального центра» и «Тактического центра», ставивших целью свержение Советской власти). Вернадский был членом ЦК кадетской партии. Жажда «сытой, спокойной жизни» тоже обычно ведет к созданию общественных и антиобщественных организаций. На одну из них указал Д. Гранин: «треп» друзей Ресовского, собиравшихся на фешенебельных курортах, оплачивался из «фонда Рокфеллера». Ныне этот «фонд» питает Бильдербергский клуб и «трехстороннюю комиссию» — рабочие органы империализма. Подкармливалась, следовательно, лишь определенная аполитичность.

Не удивительно, что ученые, родившиеся в XIX веке, были в 20-е годы кадетами. Большинство интеллигенции вообще восторженно принимало Февральскую революцию и настроенно, а то и просто враждебно относилось к Октябрьской. Ленин в июле 1921 года заметил, что «почти все» из двухсот с лишним специалистов, привлеченных для разработки плана электрификации, «настроены против Советской власти». Но он верил, что они придут к коммунизму, «когда мы им практически докажем, что таким путем повышаются производительные силы страны» (ПСС, т. 44, с. 50).

Итак, та же проблема: отношение к Отечеству. Истинная любовь к Отечеству обязательно приведет на передовые социальные позиции. Для тех же, чьим идеалом является сытая жизнь, ни родина, ни социальная справедливость ничего не стоят.

Писатель и поддерживающие его критики оказываются на стороне последних. И в этой связи надо было бы прояснить: распространяется ли право «свободных людей» жить где хотят и делать что хо-

гят на всех или только на избранных? Вопрос далеко не праздный. Общество, состоящее из «тушинских перелетов», попросту не выживет. Кто-то ведь и хлеб выращивать должен. К тому же в авторском изложении постоянно ощущается это противопоставление избранных неизбранным. Иначе и не может быть при попытке вести отсчет ценностей от личности, а не общества. Обязательно придется искать объяснение или оправдание, почему одному — можно, а другому — нельзя. Отнюдь не случайно, что космополитизм всегда являлся элитарной идеологией, а перескок от личного интереса к отдаленному «общечеловеческому» всегда был лишь средством освобождения от обязанностей перед конкретным обществом, страной, народом, спекулятивным прикрытием беспринципных поисков «сытой жизни».

Зубру, ругающий русских «за хамство», и обрисован писателем таким барином, гордимся своими предками, родословной. Даже из ссылки он возвращается «в шубе барского покроя, с бобровым воротником-шалью». «Он ведь и в трамвае не ездил. Только на такси. Расплачивался бумажками. Мелочь не признавал — плебейство! Спись пучила его и в большом и малом». «Была разница происхождения, таланта, воспитания — разница между мрамором и булыжником, гончей и дворянкой».

Вот и три критерия для противопоставления «мрамора и булыжника, гончих и дворян»: происхождение, талант, воспитание. Двойная мораль — неизбежное следствие деления общества на избранных и неизбранных, гончих и дворян. Проводя такую дифференциацию, неизбежно придется постоянно путаться, выкручиваться, противоречить на каждом шагу. Как размежевать по «воспитанию»? Кто определит меру «таланта»? «Фонд Рокфеллера»? Проще других феодально-расистский принцип: по происхождению. А в данном случае он именно и феодальный (знатные предки), и расистский: особые гены.

Не от хорошей жизни писателю придется взывать к аполитичности героя, который Отечеству предпочел фашистскую Германию. Писателю приходится это оправдывать. «Немецкая интеллигенция далеко не сразу сумела понять бесчеловечную суть фашизма. Тимофеевы — тем более. Их куда больше беспокоили вести из Союза. С 1929 года там начались неприятности для биологов. Была разгромлена лаборатория Сергея Сергеевича Четверикова, сам он был выслан в Свердловск... Участились нападки на Н. К. Кольцова. Нападали прежде всего философы, да и сами биологи, подводя, разумеется, под критику идеологическую базу... Дискуссии заканчивались увольнениями... Начались аресты... Приходили журналы с материалами дискуссий, там красовались бредовые выступления Презента и прочих. Печатали покаянные письма авторитетных ученых... Творилось черт знает что, и все это зловеще нарастало». Кольцов посоветовал Зубру не возвращаться: «Неужто вам не известно, что у нас делается? Сидите там и работайте».

Противопоставление двадцатых годов

тридцатым сейчас модно. «в те годы... руководителю никто не писал диссертации... Бездарный не мог получить особых преимуществ перед способным. После революции наступило неприветливое, невыгодное время для посредственностей и проходимцев, поэтому они не стремились в науку. Не директоров избирали в академию, а академиком назначали директорами», — сопоставляет писатель, правда, не с 30-ми годами, а с нашим временем. А в другом месте пояснит, что расцвет-то пришел из прошлого: «Революция не преврала, не нарушила научную родословную. Профессора остались профессорами, карпы карпами, морской рачок вел себя так же, как и при Романовых». Это уже прямо против неустовых ревнителей классового подхода к науке.

Так вот и приходится поднимать двадцатые годы то за счет дореволюционных достижений, то перенесением нынешних пороков в тридцатые. Потому что очень неоднозначны эти двадцатые годы. Писатель это видит. «Наука была тощей, с пустым кошельком. Монографии печатались на оборточной бумаге, академических пайков не было». Правда, автор полагает, что «голодная диета не мешала энтузиазму». Но это, так сказать, вообще. А в частности, отправляя Ресовского в Берлин, Кольцов наставлял: «Там гоняться по лекциям не надо, жалованье обеспеченное, можно будет полностью заняться исследованиями, генетикой, то есть наукой и ничем другим. А организационный период? Так это же немцы, у них будет Ордунг — полный порядок. Сказано — сделано, сделано — переделывать не надо».

К числу «мудрых акций» того времени Д. Гранин отнес назначение ректором Ленинградского университета кадета В. М. Шимкевича: «В длинном коридоре университета... стояли столики с надписями: «Эсеры», «Меньшевики», «Большевики». Студенты митинговали, партии вербовали молодежь... Золотая пора!.. До революции подобного настроения не было». Вновь сравнение с нашим временем опрокидывается на дореволюционное. Между тем либерализм кадетского толка провоцировал левый экстремизм, особенно заметный как раз в области идеологии.

Автор сам мимоходом сообщает о высылке из страны в 1922 году «группы человек в двести», напоминает о том, какие крупные ученые оказывались в эмиграции. А какая травля развевывалась буквально вокруг всех писателей, составивших славу нашей литературы последующих десятилетий? А ведь иначе и быть не могло. Почти все идеологические организации испытывали на себе влияние субъективистских представлений богдановского и троцкистского толка. Достаточно сказать, что преподавание истории было ликвидировано и восстановлено лишь в 1934 году: таким путем пытались подавить любые национальные традиции во имя «перманентной революции». Кому-то, действительно, было очень свободно: сколачивали миллионы, развезжали по границам, отнюдь не гнушаясь при этом ультрареволюционных лозунгов. А большинство (и не только «ли-

шенцы) вынуждено было и в эти годы трепетать от страха: ведь претендовавшие на руководство идеологией деятели типа Л. Авербаха вели себя, по выражению А. В. Луначарского, как «завоеватели в чужой стране».

1929 год вовсе не отход от политики 20-х годов, а ее естественное развитие. Ведь в это время вновь набирают силу Пролеткульт и РАПП. Да и главным объектом наступления явилось крестьянство, недоверие и даже презрение к которому культивировалось и троцкистами, и меньшевиками, и «впередовцами», и другими псевдоинтернационалистами. И бурю несколько лет спустя пожнут те, кто сеял ветер.

Как было сказано, в двадцатые и тридцатые годы не только ошибались и злоупотребляли. Был и энтузиазм, думали, искали. Именно тогда обратили серьезное внимание на многие теоретические работы Ленина, хотя далеко не всегда брались именно те, которые более всего были необходимы в данное время. И не все дискуссии были бесплодными, и не всякие решения ошибочными. В том числе и в области естественных наук. Были Презенты, но были и проблемы. И надо разобраться, на чем именно спекулировали или искренне заблуждались философы и биологи.

Рассказывая о беседе с академиком Дубининым, писатель упоминает о евгенике «с расистским душком», из-за которой начался сыр-бор. Только писателю кажется, что евгеника здесь лишь предлог, а дело в чем-то личном. А здесь-то и заключена та большая Правда, без которой ничего не понять во всей эпохе.

Воспоминания Дубинина именно смелые и честные. Их можно назвать образцом честности: автор не замазывает ошибок тех, кого высоко ценил, и не навешивает задним числом ярлыков поверженным оппонентам. Именно к этой книге читателю следует обращаться, дабы представить истинный ход борьбы в генетике и вокруг нее в 20—60-е годы, и книгу важно было бы переиздать.

Подводя итоги борьбы с лысенковщиной, Дубинин не без тревоги писал в 1973 году: «Среди некоторых ученых распространилось мнение о необходимости защиты всего, что было на этапе классической генетики. Этим ученым, которые сами были участниками прошедшей борьбы, казалось, что упоминание об ошибках в теориях прошлого умаляет генетику, снижает торжество ее победы. Тот же подход был перенесен и на деятельность Н. К. Кольцова, А. С. Серебровского, Ю. А. Филипченко и других, которые, разделяя взгляды евгеников, в свое время сделали серьезные ошибки. И вот нашлись ученые, которые полагали, что для утверждения генетики следует признать верными и для нового времени эти ошибочные взгляды... Классическая генетика родила современную молекулярную и общую генетику, она является исходным для всей молекулярной биологии. Однако она вошла в этот новый этап через отрицание элементов метафизики, механицизма и автогенеза, которые были ей свойственны на определенном этапе

развития проблемы наследственности» («Вечное движение», с. 431—432).

Предупреждение это отнюдь не устарело. Скорее наоборот: именно сейчас оно актуально как никогда ранее. И Д. Гренин с художественной достоверностью воспроизводит атмосферу наступления биологического на области, вроде бы давно признанные социальными. И в повести, и вокруг нее говорят о «породе», «родословных» и пр. В свое время генетику изгнали вместе с евгеникой, теперь евгеника возвращается вместе с генетикой. А это как раз то, отношение к чему должно быть в высшей мере сознательным.

Евгеника — «наука об улучшении человеческого породы». Не стоит повторять эпитетов 30-х годов: «буржуазная», «лженаука» и т. п. Что-то в ней, конечно, есть, именно то, что идет от собственно генетики. Но одно дело лечить болезни, а другое — проводить селекцию наподобие растительного и животного мира.

«Расистским душком» от евгеники в 20-е годы тянуло уже на всю Европу, предвещая геноцид в отношении «неполноценных». В 1931 году съезд фармацевтов и врачей в Германии выносил рекомендации о насильственной стерилизации «низших рас», а три года спустя, после прихода фашистов к власти, был издан и соответствующий закон. (За два с половиной года стерилизации подверглось 65 тысяч человек, в основном политические заключенные.)

Механицизм, свойственный нашей философии 20-х годов (порождение все того же махизма), открывал широкие двери и перед евгеникой. Н. К. Кольцов (1872—1940) начал издавать «Русский евгенический журнал», в котором в 1923 году публикует статью «Улучшение человеческой породы». Он объявляет евгенику новой религией (еще одна религия), а себя ее пророком. Он сожалеет, что Мендель не открыл свои законы столетием раньше, когда помещики России и рабовладельцы Америки могли бы использовать свою власть для выведения новой породы людей, видимо, не задумываясь над тем, какую бы породу предпочли рабовладельцы. А. С. Серебровский в 1929 году рекомендовал «искусственное осеменение». Улучшенная же таким образом «порода» должна была выполнять пятилетки за два с половиной года. Путем искусственного осеменения Г. Меллер — автор более двухсот работ по евгенике — собирался создать «богоподобное» существо. И даже А. В. Луначарский говорит о «совершенствовании рода, хотя бы ценою временных тяжелых жертв» («Против идеализма», М., 1924, с. 152).

Разные направления были в евгенике. Но все верили в зависимость социальных признаков от генов и все сходились на том, что семья, любовь, материнство — вредные помехи на пути создания «совершенного» человека.

«Русский евгенический журнал» был закрыт в 1929 году. В фашистской Германии евгеника, естественно, процветала. Она служила обоснованию расовых теорий и потому пользовалась высоким покрови-

тельством. По той же причине у нас отношение к ней становилось все более настороженным. А некоторые крупные генетики упорством своим препятствовали размежеванию генетики и евгеники. Дилетантам и спекулянтам вроде Презента было на чем подниматься. Ведь борьба с расизмом в 30-е годы занимала ведущее место в идеологической жизни страны. Не учитывая этого, мы опять-таки ничего не поймем в биологических дискуссиях того времени.

Ресовский возглавил отдел генетики и биофизики в 1936 году, когда в Германии в больших масштабах проводили стерилизацию «неполноценных», а у нас борьба с расизмом вывела на генетику. Писателю, «реабилитируя» героя, приходится, с одной стороны, нажимать на необоснованные репрессии в СССР, а с другой — ограждать героя от укасов, сопровождавших каждый шаг фашизма по немецкой земле и затем по всей Европе.

Возвращаться Ресовскому в СССР действительно было небезопасно. И не только из-за Лысенко. Гитлер на I съезде нацистов уже обещал, что «Урал с его полезными ископаемыми, Сибирь с ее лесами, и Украина с безбрежными полями пшеницы» скоро перейдут к немцам, а в Испании началась прямая конфронтация с фашизмом. Но «поступком» решение Ресовского не назывешь. В конце концов, если бы его смущал фашизм, он легко мог бы перебраться в Америку. Он этого не сделал. И не случайно.

И в повести, и в ответах на вопросы писатель глухо и неохотно говорит о предмете занятий Ресовского в фашистской Германии. А ведь Арцимович не случайно не подавал руки. Дело ведь не только в том, где работал Ресовский, но и в том, чем он занимался. Недавно коллеги Ресовского попытались дезавуировать резонные недоумения, высказанные В. Бондаренко. Они называют его «презюмции невиновности» («ЛГ», 27.01.88 г.). Но ведь есть широко известные материалы. В 1969 году у нас переведена книга американского автора Д. Ирвинга «Вирусный флигель» (М. «Атомиздат»). Там, в частности, указано, что у отдела генетики института в Бухе был секретный контракт с военным министерством и верховным комиссаром по атомной физике.

Авторы письма в газету называют имена тех, кто свидетельствует в пользу Ресовского. Надо бы с этим разобраться, потому что есть и иные свидетельства. В редакциях журналов есть, в частности, письмо К. Царапкиной, снохи С. Р. Царапкина, проведенное вместе с Тимофеевым-Ресовским 20 лет в Германии. В письме разъясняется, кто и чем занимался в Бухе и какая организация помогала русским военнопленным. Указано там и на два материала, известные специалистам. Один из них — статья Ресовского в соавторстве с Борном и Циммером «Применение нейтронов и искусственных радиоактивных веществ в химии и биологии» в журнале *Die Umschau* (1941, тетр. 6). Речь здесь идет о модификации противогазов для немецкой армии. Другая статья с теми же соавторами из журнала

Die Naturwissenschaften (1942, тетр. 40) и вовсе поразительна. Соавторы спокойно повествуют об опытах на людях, которым вводили в кровь торий-Х (с. 602). Фашистская Германия, наверное, была единственной страной, где подобные эксперименты даже никак и не камуфлировались. «Неполноценные» — не люди.

Так выглядит критерий «породы». Весьма своеобразно представлен в повести и отбор «танантов». Со слов А. Н. Тюрюканова рассказано, как писали научную статью. «Разумеется, основополагающую, мы других не писали. Страниц двадцать на машинке получилось — биосфера, почва, то да се (и это все на 20 страницах? — А. К.). Двадцать страниц, и все от себя, никаких ссылок. Я говорю, неудобно, нужны, как водится, цитаты, ссылки. Конечно, на это Эвзе заругался. С какой, говорит, стати! «Да разве мы с тобой не сами, не своим ходом шли, что мы будем сажать себе на шею?...» Ругался, ругался, потом бурчит: «Ну кто там у нас больше всех строил по этому вопросу и ничего в нем не понимает? У тех всегда длинные списки литературы». Достал какой-то талмуд и нахожу огромный список литературы. Пошли мы по алфавиту. Моя обязанность читать имя автора. Идет Аполин. Он повторяет: «Аполин, Аполин, по-моему, подвергался гонениям. Ну тогда ставь галочку. Дальше...?» «Берг», — говорю. «Лев Семенович? Упомянуть надо, хороший человек... Так мы и шли: «Это приличный человек, это цивилизованный господин, а это путаник, этот — прощелыга». Происходил учительный интереснейший отбор».

Вот так отбираются «тананты». По принципу: «был бы человек хороший», то есть «своего» круга. А ведь отсылки к литературе — это не просто нравственный долг. Это и методология, глубина понимания проблемы. Для истины ведь безразлично, к кому ходит в гости ученый. Да и не может быть истины там, где ложь (политически запрограммированная ложь) заложена в каждой ссылке.

Так к какому же все-таки храму следует идти? Храм вульгарных социологов — поборников Пролеткульта, к счастью, развалился, и сами его служители разбегаются стремглаз, опасаясь угодить под обломок. Храм, возведенный на средства «фонда Рокфеллера», доступен лишь избранным: «дворян» туда не пускают. А о храме социальной справедливости вроде бы и говорить перестали искатели Улиц.

И почему храм обязательно должен двигаться из заморских материалов и иноземными строителями? А может быть, послушать биение пульса самого народа, отнестись бережней к его настроениям и традициям? Ведь жить-то ему. А давно известно, что чужие идеалы обществом отторгаются. И верно сказано, что при безразличии к стране проживания нельзя предлагать что-либо ее народу; навязывать же что-то силой и вовсе безнравственно.

* Эти материалы демонстрируются и комментируются в публичных лекциях Г. А. Середы, бывшего руководителя того объекта на Урале, где работали Тимофеев-Ресовский и его немецкие коллеги.